

Наталье Николаевне
и Ивану Александровичу Ильиным
посвящаю.

Автор

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин

ПРАЗДНИКИ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Чистый Понедельник

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном — как плачет. Старый наш плотник — «филенщик» Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет — заплачет. Вот и заплакала — кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, назолоченый пряник «масленицы» — игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, — пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», — Горкин вчера рассказывал, — «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться.

— Косого ко мне позвать! — слышу я крик отца, сердитый.

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, — редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощенный день. И Василь-Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках — «всех прощаю!». Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар, — священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный... — так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.

— Вставай, милоч, не нежься... — ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. — Где она у тебя тут, масленица-жирнуха... мы ее выгоним. Пришел Пост — отгрызу у волка хвост. На Постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петть будут — «душе моя, душе моя» — заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий Пост. И Горкин совсем особенный, — тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, — чистый сегодня понедельник! — только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие — угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай — «за сахар».

— А почему папаша сердитый... на Василь-Василича так?

— А, грехи... — со вздохом говорит Горкин. — Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли... по закону-то! Читай — «Господи-Владыко живота моего». Вот и будет весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, — по субботам он сам зажигает все лампадки, — всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:

И свято-е... Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!

Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов. И видится мне, за вереницею дней Поста, — Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные дни Поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет... где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом — другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь — «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет — «увы мне, окаянная я!» Так и в ифимонах теперь читается.

— Потому они чувят, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дожидаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: помни... по-мни!.. — поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест — по-мни... по-мни... Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется — постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет те-

перь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина, — «Красавица на пиру», — закрыта простынею.

Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится — такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то — «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий Пост: раскатишься — и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, — великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, — такая прелесть. Я хватаю щепотками, — как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым ки-

селем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»... а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и т а м, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все — другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, — весь двор завалят. Поедем на Постный рынок, где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был... Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:

— Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается, Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он допустил?..

Чувствуется мне в этом великая тайна — Б о г.

* * *

В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь-Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, «сгоряча», — и притаиваюсь за дверь. Я вижу в щелку широкую спину Василь-Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют, — злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».

— Пьяная морда! — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. — И посейчас пьян?! В такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями, прости, Господи! Публику чуть не убили на катаньи?! А где был болван-при-

казчик? Мешок с выручкой потерял... на триста целковых! Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез... в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..

— Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с... в баню ходил-парился... чистый понедельник-с... все в бане, с пяти часов, как полагается... — докладывает, нагибаясь, Василь-Василич и все отталкивает кого-то сзади. — Посчитайте... все сполна-с... хозяйское добро у меня... в огне не тонет, в воде не горит-с... чисто-на-чисто...

— Чуть не изувечили публику! Пьяные, с гор катили? От квартального с Пресни записка мне... Чем это пахнет? Докладывай, как было.

— За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда... ошибся... ради хозяйского антитресу. К ночи пьяные навалились, — катать! маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат — жоще! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал... ну, выпивши маленько...

— А ты, трезвый?

— Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был... А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники... с блинами на горы приезжали, и с кулками... Очень я им пондравился...

— Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври...

— Забрали меня силой на дилижан, по-гнал нас Антошка... А они меня поперек держут, распорядиться не позволяют. Лети-им с гор... не дай Бог... вижу, пропадать нам... Кричу — Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать... да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место... с кулак нажгло-с... А там, дураки, без моего глазу... другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел... ну, тоже маленько для проводов масленой не вовсе

тверезый... В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало... А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побило... лежали мы на льду, на самом на ходу... Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу... и ему солянки велел подать... и выпили-с! Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий Пост, чтобы было тихо и благо-родно... все веселения, чтобы для тишины.

— Антошка с Глухим как, лежат?

— Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч фершал смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капустки просят. Напужался был я, без памяти оба вчерась лежали, от... сотрясения-с! А я все уладил, поехал домой, да... голову мне поранило о дилижан, память пропала... один мешочек мелочи и забыл-с... да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!

— Ступай... — упавшим голосом говорит отец. — Для такого дня расстроил... Говей тут с вами!.. Поймай... Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять... двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощенье просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.

Василь-Василич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!

Я долго стою и не решаюсь — войти? Скриплю дверь. Отец, в сером халате, скучный, — я вижу его нахмуренные брови, — считает, деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди.